



Альберт ЛИХАНОВ

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Альберт Лиханов

Солнечное затмение

1976

Лиханов А.

Солнечное затмение / А. Лиханов — 1976

Повесть построена на контрастах – девочка в инвалидной коляске, Лена, живет по суровым правилам, составленным девочками в интернате: нам ничего не положено и жалеть нас не надо, а мальчишка-голубятник Федор – романтик и мечтатель. Посетит ли юных героев нравственное озарение? Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3103. Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Альберт Лиханов

Солнечное затмение

Не такая уж это была окраина, нет. Окраины давно уже поошетинились бетонными домиками. Издали еще ничего, издали, сквозь дымку, этаким сказочным многоглазым городищем, весь белый, чего-то обещающий. А вблизи – каменный забор. Выйдешь из-за одного дома, думаешь, ну сейчас вот и простор будет – поле, одуванчики, земля, – а вместо одуванчиков снова дом, а за ним еще и еще, и сил уже нет добираться до выхода, и глаза тоскуют от асфальтовой серости...

Так что было это вовсе не на окраине, а посередине где-то, между центром и новыми районами, и были еще тут старые деревянные домишки, бараки-засыпухи – от военных лет, и была еще земля, и одуванчики, и старые черемухи осыпали весной дощатый тротуар опавшими лепестками.

И такой тут покой стоял, отрада душе, что порой забывалось, будто это город, большой, шумный город, и казалось, что ты в районном поселке незначительного масштаба. И люди, торопливо выходявшие из-за кустов акаций, от троллейбусных остановок, приехавшие из центра, с авоськами в руках или портфелями, вывернув из-за акаций, вступив из города в старый свой поселок, где жили они давно, сами не замечая, вдруг успокаивали шаг, глядели вокруг новым, ожившим взглядом, размякали как-то, потому что уголок этот, отгороженный от шума и суеты тополями, кустами и тишиной, жил другим дыханием, другим ритмом и того же требовал от всякого, кто входил сюда...

Один только батяня Федькин ходу не сбавлял. Газовал на четвертой передаче. Выруливал из-за акаций и к дому пылил.

Федор глядел на него со своей голубятни и взглядом как бы сопровождал, как бы старался отца уберечь. Только не всегда это ему удавалось.

Дорога отцова шла мимо фанерной будочки с пластиковой волнистой желтой крышей – самого, пожалуй, современного сооружения в старом районе. Палатка бесперебойно торговала пивом, возле нее толпились мужики; мужской этот водоворот рассасывался только в сумерки, и будка эта была для Федора самым тоскливым местом. Не в городе, нет. Во всей его жизни.

Эх, жизнь!.. Хватало Федьке в ней расстройств и огорчений, и пары он огребал букетами, и дрался, бывало, с другими голубятниками – такое уж это дело, не обойтись, – и порол его батяня, но все неприятности и досады были в сравнении с пивнушкой этой проклятой семечками, царапиной, пустяком, мелочью. Вот чем были для Федьки все остальные неприятности. Потому как нет для человека ничего больнее срама собственного отца.

А Федькин батяня, загребая ботинками с оббитыми, побелевшими носами пыль, мчал к дому, не сбавляя скорости. Не видел черемухи, травы, облаков. Дул, страшно сосредоточенный, глядя под ноги, как бы задумавшийся о чем-то серьезном. И Федька глядел на него не отрываясь, и этот взгляд его частенько все же помогал – отец проходил мимо будки; правда, потом, миновав ее, становился он вялый и мешковатый, и пропадала враз его сосредоточенность. Но стоило Федьке сморгнуть, или оглянуться на турмана, или подумать о чем другом, даже не сводя глаз с отца, как все и начиналось.

«Э! – кричал от пивнушки какой-нибудь сиплый голос. – Джон Иванович! Подгребай к причалу!» Или еще хуже: «Американец! Валяй сюда!»

И все возле будки ржали, просто хором ржали, а отец резко разворачивался, подступал к пивнушке, задиристо выкрикивая: «Кто обзывается? Кто?» Но его обнимали, говорили пьяно: «Брось, Гера, брось, давай по единой», – и отец затухал, замолкал, толкался у будки до позднего вечера, а когда являлся домой, комната, где жили они втроем – отец, мать и Федор, – тотчас наполнялась пивным духом... Эх!

Мать уже и не плакала теперь. Глядела на отца высохшими глазами, сама высохшая, как доска, чернявая и худая, совсем старуха, а отец отворачивался в сторону, сопел, снимая ботинки, потом говорил, оправдываясь:

– Ну чо ты, чо ты, Тоня, я же не пьяный, всего кружечку.

Бог с ней, с кружечкой, пил бы себе на здоровье и три, и пять, и бутылку, если уж приспичило, нет, не это Федьку терзало, а срам. Срам отцовский. И слабость его немужская.

Звали батяню Фединоного Джон Иванович в самом деле. Родился он в тридцатые годы, аж до войны. И мода тогда была. Сейчас мода на обувь, сапоги каким-то чулком носят, к примеру, очередища страшная у обувного магазина неподалеку от их поселка, ну вот, а тогда мода на имена была. На заграничные. И родители назвали отца Джоном – по-американски. Мог бы сто раз сменить это свое имя, да он и так сменил, называя себя, знакомясь, Георгием, но народ настоящее отцово имя знал, насмехался; мать объясняла, насмехался потому, что отец тут, в райончике этом и в этом доме, жил сызмальства и алкаши эти несчастные – его детские друзья.

Федор думал об этом частенько. Вот как! Вон тот, седой совсем и с палкой, – тоже, значит, отцовский кореш с детских лет. И этот, рыжий. И тот, лысатик-пузан. Сдувают с кружек пену, чокаются с отцом. Федор глядел на них с голубятни и все представить не мог, какими они мальчишками были. И были ли? Чудно это все ему казалось. И глупо. Пусть даже были они друзьями, пусть сто лет тут живут и друг друга всегда знают. Пусть... Обзывать-то чего же! Дразниться до седых волос! Ну и чем виноват отец перед ними? Объясните – чем? Этот, седой, Иван Степанович, другой Платонов, его и по имени-то никогда не зовут, просто Платонов, будто и имени нет, лысый – Егор, а отец – Американец, вот тебе... Американец. Джон. Взрослый человек, а все Американец.

Эх, батяня!.. Другой бы послал к черту старых друзей, коли такое дело, коли дразнят взрослого человека, детство забыть не могут. И все. Жил бы, как остальные. Шел спокойно мимо пивнушки. Не дергался по пустякам. Но, видно, была у отца какая-то своя тайна, что ли. Своя робость, которую никак не перешагнуть. Вот вырулил он из-за угла, дует домой, сосредоточившись, голову опустив, думая о чем-то. Поравнялся с будкой.

– Дядя Сэм! – кричит лысый. – Хэлло! Дуй сюда, у меня аванец! – И отец словно спотыкается. Минуту стоит, потом рукой самому себе махнет, мол, была не была, к пивнушке идет, кричит истошным голосом: «Кто сказал „дядя Сэм“?» – и народ у ларька хохочет, за животы держится. Ладно бы эти трое, друзья детства, а то все уже потешаются.

Шут гороховый!

Федор глядел, как сворачивает отец к ларьку, и закусил губу, зло воткнул топор в бревно. «Черт с ним! Горбатого могила исправит!» Это материны слова, не его, но он их всегда повторяет. Повременив, огляделся вокруг себя, словно бы к жизни возвращался.

А жизнь у Федьки отдельная от всех. Собственная. С ребятами он не якшается по причине простой: не желает быть, как отец, американцем. Он бы, правда, и не стал никогда американцем, любой бы, кто обозвал, получил как следует по зубам. Тут же. Да за такие слова!.. Но он с ребятами все равно не водится. Не потому, что боится, как бы по-отцовски не обозвали. Потому что за отца стыдно. Мало у кого отцы не выпивают, это есть, случается. Но ни над кем в округе не издеваются, как над Федькиным родителем. Поэтому Федор все больше один. Чтoб не пришлось говорить: «Это мой батя».

Федор привык один быть. Привык своей жизнью жить, от всех отдельной. Стучал топором, рубанком стружку гнал.

Собрал старые доски, пару со стройки стянул, а сетка старая – и притих, мурлычет под нос песенку.

Песенка у Федора забавная, из какой-то там старины, в кино услышал или по радио, теперь уж и не упомянит...

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна...

Других слов не помнит, зато эти ему нравятся очень. Правда, на что ему берег турецкий? Или Африка, опять же? Ему тут нормально. В этом их углу. Тихо летом, тепло. Турманы урчат, зобы раздувают, золотистый самец перед голубкой хвост развернул, пошалить хочет, ах вы, летуны, ах, мерзавчики! Ну ничего, потерпите малость, доделает ваш Федька новую голубятню, всем голубятням голубятня. Просторная, не на крыше где-нибудь, а отдельно стоит, на четырех столбах, с крышей покатой, чтоб дождь не заливал, по всем правилам искусства, ах ты, елки-моталки, и пусть они там живут, как им нравится, папаня этот...

Подумал опять про отца, и руки сами собой разжались, молоток выпал. Пальцы холодными стали. Вот всегда так. Сколько ни думай про разное, как про отца вспомнишь – ладони потеют и тоскливо становится.

Федор обернулся к ларьку – отец брел от него к дому, никуда уже не спешил, голову задрал гордо, крутил ею на тонкой шее, озирался вокруг, будто желал, чтобы его видели... Чего смотреть-то?.. Федя мотнул головой, занялся снова своими делами. Хорошо же стружкой пахнет, ах, хорошо, и душа от запаха этого словно вычищается, ясней становится, опять Федя поглядывает веселей на своих турманов, на небо над головой, прозрачное и голубое, – есть ли у неба дно? Он прибивал гвоздями сетку к раме, а сам все время на небо поглядывал. Вот говорят, больше всего летчики небо любят, у них, мол, профессия такая, а он не согласен. Не летчики, голубятники небо больше всего любят. Летчику что, захотел – полетел. А тут стоит человек на земле или на крыше какой, свистит на голубей, а сам радуется, что голуби его в небе мелькают. И миг такой настает, когда чувствует голубятник, будто это и не голуби вовсе, а он сам там, в небе-то. И без всяких моторов-двигателей, а сам собой, и только трепещут, хлопают крылья его. Никому не признавался Федор в этом, не такой он человек, чтобы об этом говорить, да и как скажешь?.. Прислонился он к стойке, задрал голову вверх, нырнул с головой в небо, и полетел, полетел в глубину, аж защемило под ложечкой от страха...

Неделю уже – с тех пор, как ее привезли, – наблюдала она за мальчишкой. Знала, как его зовут. Голубятня, которую он достраивал, была почти вровень со вторым этажом, с их окнами, и каждое сказанное там слово – да что слово, шепот даже – слышала она в своей комнате. А он и не подозревал о ее существовании.

Ветер трогал занавеску, приносил к Лене запах свежей стружки, незнакомый ей, новый, раньше не слышанный, и она хотела, прямо до озноба какого-то желала припасть к охапке пачухей стружки и вдыхать, вдыхать до головокружения этот манящий запах. Все было так просто! Стоило только сказать матери или отцу, когда они придут с работы, и ей принесут сколько угодно стружки. Но Лена молчала. Словно оттягивала предстоящее удовольствие...

Утром, едва просыпаясь, она прислушивалась к улице. В голубятне ворковали птицы. Издалека, с трамвайного круга доносились краткие звонки и скрежет железных колес о рельсы. За акациями все время срывались троллейбусные штанги и звенели о провода. Но когда появлялся Федор, все другое исчезало для Лены – оставались шуршание рубанка о дерево, удары топора, хлопанье голубиных крыльев и хрипловатый голос Федора, ни с того ни с сего вдруг выводивший:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена подкатывала коляску к окну, отодвигала занавески и разглядывала мальчишку, но едва он поднимал голову, испуганно отъезжала в глубину комнаты. Не хотела, чтобы Федор

ее видел. Ей нравилось оставаться невидимой. Это ее забавляло. Впрочем, может, и не забавляло... Может, совсем другое...

Странно чувствовала она себя в эти дни. Дом, куда ее привезли после болезни, был родным, но она не привыкла к этому дому, не могла привыкнуть. Сколько помнила она себя, родным для нее был сад возле школы-интерната, общая комната на десять таких, как она, девчонок, нянечка Дуся, а до школы еще один интернат – в лесу, за городом. Так что родным для нее был шум и гам или тишина, но особая тишина, непохожая на эту, когда она совсем одна, будто в заточении... В той тишине девчонки плакали все вместе от грустной какой-нибудь истории, они любили грустное, это было про них. И тихий этот плач, когда нянечка Дуся дремлет в своем закутке и воспитатели ушли домой, их объединял и странно окрылял – вот ведь, и у грусти, оказывается, есть крылья.

Впрочем, такое случалось поздним вечером, перед сном, а утром грусти не оставалось места, и они, кто как, каждая по-своему, одевались, переползали в коляски, прихрамывали, кособоились, натягивали, помогая друг дружке, платья, смеялись, кричали и плакали тоже, только днем плакали громко и как-то непонятно весело – днем плакать грустно запрещалось. Ими же самими.

А тут все было не так.

День проходил одиноко и пусто, а шумно становилось к вечеру, когда возвращались люди с работы, когда приходили мать и отец.

Днем только Федька развлекал ее. Пел, бормотал, разговаривал с голубями, шуршал стружкой. И не знал, что на него глядит из окна, сквозь щель в занавесках девочка, которая может передвигаться только на коляске.

Ах, коляска! Там, в интернате, среди подружек, таких, как она, коляска была для нее предметом одушевленным – с ней можно и поговорить в случае чего. Легкую, маневренную коляску отец привез Лене из заграничной командировки, и это никелированное создание было изящным и вертким, помогая ей жить. Они вообще там не замечали своих бед. Жили просто – вот и все. Странно, восьмиклассницам не надо объяснять, что такое их беда, их уродство, но девчонки про себя никогда, кажется, и не думали. Болезни их общие, полиомиелиты и параличи, даже как будто сближали всех в нечто единое. Комната на десять коек была не просто комната для этих искалеченных болезнью девочек, а чем-то совсем иным... Одна из Лениных подружек, Зина, самая, пожалуй, тяжелая, с парализованными рукой и ногой, сказала однажды, что их комната – скит, и все замолчали. Скит. В этом слове пряталось что-то тайное. И еще заброшенное. Скиты бывали в тайге, там монахи прятались от жизни. Нет, это им не подходило, и Лена сказала:

– Не скит, а первичная комнатная организация.

Девчонки загалдели обрадованно, будто Ленка угадала редкое слово в кроссворде, нашла ответ в трудной задаче. И правда, какой это скит! Стены увешаны вышивками до самого почти потолка – специально приглашали дворника дядю Степу, чтобы прикрепил. На ковриках – цветные фотографии любимых артистов, среди которых чаще всего Вячеслав Тихонов, и бусы из ярко-оранжевых ягод шиповника, и новогодние красивые открытки из дому, и портрет Ленина – они купили его еще год назад, когда вступили в комсомол.

Нет, все у них было там по-своему, своя жизнь, где никто никому не кажется уродцем, а все равноправные люди, открытые и прямые, и чаще всего веселые, неунывающие – с унынием и всем таким прочим они беспощадно боролись. В шестом классе к ним пришла Вера Ильинична. Теперь они все зовут ее классной мамочкой, а тогда Вера Ильинична не могла прийти в себя. В глазах у нее то и дело вспыхивали слезы – просто так, без всяких причин, оттого, что она смотрела на девчонок. Вера Ильинична удивлялась часто, прямо-таки поражалась. Она пришла сюда из нормальной школы, и на уроке литературы девчонки потребовали разговора про «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» была разлюбимой книгой, в оче-

редь на нее становились с пятого класса, и девчонки так на том уроке разговорились, что Вера Ильинична пораженно молчала и только в конце сказала о том, что несказанно удивлена. И объяснила: там, в той, нормальной школе восьмиклассники путают Ульяну Громову с Любой Шевцовой. Девочки не поняли – как так? И Вера Ильинична снова объяснила: вертихвостки и вертихвостки, им некогда за книгу сесть – то танцы, то прогулки по Бродвею – так окрестили одну улицу в городе.

Они очень тонко чувствовали все, эти больные девчонки. Вместо того, чтобы загальдеть, притихли. И Лена сказала:

– Вера Ильинична, мы признаем вас нашей классной мамой, вы хороший человек. Но у вас есть один недостаток...

Лена увидела, как расширились глаза у Веры Ильиничны, как она растерянно заморгала, и добавила:

– Нас не надо жалеть...

Вера Ильинична быстро кивнула. С тех пор слезы у нее не появлялись никогда. По крайней мере, при них. И никогда, обвиняя здоровых людей в недостатках, она не приводила причин этих недостатков. Ведь те восьмиклассники из нормальной школы не читали «Молодую гвардию», потому что танцевали и гуляли.

А в тот раз, когда девчонки разбрелись из класса, Вера Ильинична осталась с Леной. Помогла ей перебраться с парты в коляску и покатила в спальню. Лена чувствовала: что-то учительнице не дает покоя. И точно. Вера Ильинична спросила:

– Почему ты так со мной говорила?

– Мы говорим так со всеми учителями.

– Вот как...

Вера Ильинична приумолкла и, кажется, сделала еще какой-то вывод.

– А потом, – прибавила Лена, – мы же признали вас нашей классной мамой.

– Спасибо! – проговорила Вера Ильинична сдавленным голосом.

– Остановитесь, мамочка! – приказала Лена. – И наклонитесь сюда.

Вера Ильинична наклонилась. Лена обняла ее за шею и поцеловала. Учительница быстро исчезла за Лениной спиной. Все-таки не удержалась. Хлюпнула носом.

– Ну вот! – укоризненно вздохнула Лена. И прибавила: – Я вас поцеловала не для будущих пятерок, не подумайте. Они и так будут. Просто я вас люблю!

Это Лена сказала в шестом классе. Потом, в восьмом уже, Вера Ильинична, получившая высшее звание классной мамочки, призналась Лене, что ее поразил тот разговор.

– Понимаешь, – сказала она, – я подумала, что ты старше меня.

– Так оно и есть, – улыбнулась Лена. – Я старше тебя. Или ты еще не поняла?

Да, у них там была необычная жизнь, в которой коляски и костыли, парализованные руки и ноги, уродство и красота не играют абсолютно никакой роли – ни вот на чуточку, и мера ценностей взвешивается на иных весах – на весах сердечности, любви и души, но вот тут...

Тут, в родном доме, когда она оставалась одна, все начинало меняться. Она глядела в окно – по улице шли нормальные люди. Маленькие девочки прыгали через скакалку. Смешной зеленоглазый мальчишка строгал доски, стучал молотком, вспевал всегда неожиданно:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена смеялась над ним, но не так, как там, в интернате, – там бы она расхохоталась громко и открыто, а тут прижала ладошку ко рту, чтоб он не услышал. Не услышал ее смеха и не увидел ее в этой безобразной, уродливой, стыдной коляске!

Нагляделся Федор на голубей, подождал, пока влетят они в голубятню, пересчитал деловито, закрыл сетку, снова взялся за рубанок, но услышал материн голос:

– Сынок! Федя!

Глянул он на мать сверху, сердце тоской обволокло. Узкие плечи вперед подались, лицо у матери заострилось, и оттого, что смотрит на него снизу вверх, получается будто как-то просительно. Будто он, Федор, должен ей помочь.

Федор к матери сошел, она протянула ему газетку, в газете два бутерброда с колбасой, – все без слов понял. Ужинать домой не зовет, дома невоготу. Подтвердила:

– Ой, как стружкой хорошо пахнет! Посижу.

Присела на ступеньку лестницы, в голубятню ведущей, спросила сама себя:

– Почему я не мальчишка? Гоняли бы мы с тобой голубей...

Умолкла. Жует Федор колбасу, слушает, как молчит мать, и завить ему хочется. Господи! Что же вы делаете, взрослые люди?! Да ведь даже его ума достает, чтоб понять – негоже так жить, невозможно. Вон небо какое глубокое, вон тополя шумят листьями без конца, вон голуби воркуют, вон люди идут, – как же вокруг-то хорошо и ясно, так неужели же в ясности этой нельзя ясно и жить? Ясно друг к дружке относиться, радоваться вместе, любить, счастливыми быть? Есть Федору не хочется, до того тоскливо на душе у него. Он не за себя горюет – за мать. Вон она какая – сама не своя. А ведь карточка дома висит – красавица черноглазая. Коса, толщиной в руку, на грудь переброшена, и хоть карточка старая, потускнела от времени, сквозь тусклость даже эту видать – счастливая мама, веселая, все у нее на душе ладно, ничего не надо.

Федор дожеввал колбасу неохотно.

– Знаешь, – сказал, чтобы что-то сказать, – турманов предлагают продать. В соседнем квартале мужик объявился, полковник отставной, говорят. Богатющий – страсть. Подходил сюда, интересовался.

Мать вздохнула.

– Птиц продавать грех, сынок. Они живые. И вольные.

Вздохнула опять, отвернулась от Федора. Он знает: в глазах слезы.

– Ты опять за свое! – сказал он.

Мать мотнула головой, повернулась к нему. От глаз к вискам морщины тянутся. И от носа к краешкам губ. Но не плачет. Взгляд сухой и острый. Сказала:

– Садись-ка рядом, поговорим ладком...

Он сел послушно – прямо в траву, в стружки.

– С отцом говорить без толку, – улыбнулась извинительно мать, – так давай с тобой порассуждаем. И не бойся, плакать не стану.

Федор кивнул, глядя в лицо ее, серое и больное.

– Ну вот, послушай, сын. Человек ты вполне взрослый да разумный. Комсомолец. Суди меня, коли сможешь, а коли не сможешь – оправдай и помоги... Не хочу я больше. Сил нет. Каторга у меня, а не жизнь... Знаю, что и тебе не сладко, но мне... до стенки дошла, уперлась. Кончилось мое терпение. Все.

Она замолчала, посмотрела на Федю решительно, потом взгляд отвела в сторону чуть, и оттого, видно, что Федор теперь как бы сбоку оказался, взгляд ее этот стал жестким и сухим.

– Давай уедем, – сказала мать, глядя по-прежнему в сторону. – Мало ли на свете городов... К бабушке уедем.

Теперь Федор глаза от матери отвел. Посмотрел вбок. Потом на голубятню свою.

– Их жалеешь? – спросила мать.

Он покачал головой.

– Отца.

Чуть не оговорился. Чуть не сказал: Американца...

Не успел матери ответить, а тот тут как тут. Из-под земли вырос по мановению волшебной палочки. Подошел деловой походкой, сел рядом с Федором на стружки, обнял его. Федя руку отцову стряхнул.

– Вот так вот! – воскликнул отец. – Всю жизнь! К ним со всем сердцем, а они нос воротят. Куда же денешься?

Мать в сторону смотрела, словно и не заметила, что он пришел.

– Ну объясните вы за-ради бога! Чем я вам неугодный? Чем нехороший? Алкаш я, что ли, какой? Ни разу в милиции не ночевал! Вон, поглядите на мужиков-то! И так и этак валяются, а я! Пивком балуюсь – ну и что? С приятелями беседую – разве грех?

Мать все молчала, Федор на отца посмотрел. Значит, бросить его мать предлагает. Уехать к бабушке. В другой город. Но он, Федька, сделать этого не может. Был бы и впрямь отец буян и громила. Хам какой-нибудь, драчун. Нет, он жалкий. Худой, щеки ввалились, щетина черная ежом торчит. И чего-то он просит всегда. У всех. Как и сейчас.

Федор поглядел на мать. Та как неприступная крепость. Все слова отцовские мимо нее пролетают. Да и правильно. Сколько слов он этих всегда без толку тратит – пустые они, вот и все.

– Знаешь чего, батяня, – начал Федя, но осекся. Отец тут же умолк, словно ждал он любого слова, будто слов этих – ругательных или милостивых – выпрашивал он от сына и жены, и умолк с готовностью, ожидая их как подаяния. – Знаешь, батяня, ты, конечно, не алкаш, ты просто... никто.

Отец голову откинул, будто его ударили. Глаза закрыл. Потом выдохнул:

– Никто? Как никто?... Повтори, повтори!

Но Федор молчал. Краем глаза увидел он, как мать на него взглянула. Может, с интересом взглянула. Только сейчас сказал он ей, что отца жалеет, Американца этого, и тут же отцу будто оплеуху закатил. Никто... Это же надо – никто...

Отец встал, пошатнулся. Федор удивился: не пьяный ведь. Постоял. Двинулся в сторону. Подошел к дереву. Прислонился к нему. И вдруг Федька увидел – трясется у отца плечи. Плачет. Плачет навзрыд. И прохожие останавливаются. Глядят на отца. Со своего балкона Платонов заорал:

– Гера! Гера, кто тебя обидел?

И Федя не выдержал. Такая жалость к отцу нахлынула, навалилась всей тяжестью, будто каменная глыбина, и заплакал он, заревел, как маленький, безысходно, во весь голос, и крикнул сквозь слезы матери, растягивая слова:

– Что вы делаете, а? Что вы делаете, взрослые люди?!

И у матери навернулись слезы: смахивая их, кинулась она мимо Федьки к отцу, там, под деревом, схватила мужа за плечи и повела к дому на виду у всего поселка, на глазах у народа.

Федор глядел им вслед сперва сквозь слезы. Потом отец и мать, оба теперь вместе, показались ему жалкими, обиженными, загнанными, осрамленными, и он подумал в отчаянии: отчего же это? Почему? Что за дикость такая: двое ж взрослых людей любят друг друга, ведь любят же, и мучают, терзают без жалости – зачем, отчего? Неужели же пивной ларек всему причина и глупое имя отца – Джон Иванович? И разве же не пустяки это, разве же это препятствие для хорошего, покойного житья, для всех, для них, для троих? Разве же не могут они рядышком, друг к дружке поплотней прижавшись, сбросить этот стыд и жить, как люди?

Он схватил топор, молоток, рубанок, взобрался по лестнице, швырнул барахло свое в голубятню, запер засов и спрыгнул обратно наземь. Нога у него подвернулась, он упал боком, взгляд его, цепкий в это мгновение, ухватил край голубятни, небо, прозрачное и легкое, и край окна, в котором было испуганное чье-то лицо. Он вскочил и, прихрамывая, побежал домой, к двухэтажному старому барaku военных лет. К черному провалу двери, где скрылись отец и мать.

Так уж она была устроена – не могла спокойно сидеть, когда другие ссорились. Еще в интернате придумала: если толпа, если девчонки руками размахивают и кричат, она на коляске своей разгонялась, мчалась прямо на эту толпу и кричала:

– Полундра!

Бывало, натыкалась колесами на людей, боль причиняла кому-то, но со второго или третьего раза ее все поняли – своей «тачанкой» она толпу разгоняла, а когда те, кто ссорился, друг от друга отходят, смысла кричать и руками размахивать больше нет.

Вот и тут... Она сидела в глубине комнаты, молчала терпеливо, а когда Федя заплакал, не выдержала – подъехала к окну, решительно откинула штору, приготовилась крикнуть что-нибудь, конечно, не «Полундра!», это словечко тут не подходило, никто бы не понял ее, – но увидела, что опоздала: взрослые уже исчезли, а Федька скатился по лестнице, ударился оземь, вскочил и побежал к своему барaku.

Лена задернула штору, сделала несколько кругов по комнате, чтобы успокоиться, но не могла.

«Боже! – думала она. – У всех что-то есть, что-то болит, неужели же нет дома, нет семьи на белом свете, где было бы все-все в порядке? В порядке, в счастье, в покое?»

Она глянула на стену, где висела их семейная фотография – мама, отец и она. Сфотографировались в прошлом году, в воскресенье, когда по правилам интерната дети встречаются с родителями и гуляют по школьному саду. Тогда появился какой-то мужчина с лисьей мордочкой – гладкой и угодливой. Он приближался тихо, откуда-то сбоку, из глубины сада, подошел, когда родители и их немощные дети не думали о нем, и заставлял врасплох своим угодливым видом и предложением сфотографироваться всей семьей – на память. Родители терялись, это Лена заметила сразу, как растерялись ее папка и мамуля; эти слова – «на память» – всех словно обезоруживали. «На какую это память?» – подумала она тогда. Но промолчала. Человек с лисьей мордочкой расположил мамулю и папку симметрично по отношению к коляске, проворно отбежал и щелкнул несколько раз затвором. И вот теперь та карточка – на память – висела здесь, а другая – над кроватью у Лены в большой интернатской комнате.

Она усмехнулась, вспомнив фотографа. «Значит, на память? Всего-то... на память!» Лена рассмеялась, но ей не было весело. Она давно заметила за собой странную привычку – запоминать слова. Незначительные, проходные для других, для нее они становились каким-то... квадратным корнем из особого смысла. Пусть будет так – несколько выпендренно, но точно... Она махнула рукой. Бог с ней, с этой «памятью». Вгляделась в карточку. Мамуля – белокурая, круглолицая, голубоглазая. У нее нет до сих пор ни одной морщинки, со стороны кажется, что она живет спокойной и ровной жизнью – только вот глаза ее выдают. Вдруг мамуля начинает моргать. Когда ей плохо – моргает. Когда трудно и сложно – моргает. В воскресенье, день свиданий, мамуля, увидев Лену после недельного перерыва, всегда сперва моргает. Потом целует ее тысячу раз. Ласкает так, будто видит в последний раз.

Лене это не нравится. Она сразу начинает сердиться, когда видит мамулю. Она бы хотела, чтобы ее мамуля была чуть пожестче, ей было бы так проще. Всем и всегда Лена прямо говорит об этом, как тогда, в шестом классе Вере Ильиничне, она и мамуле всегда говорит, не церемонясь, но ту не прошибает. Мамуля, пожалуй, единственный человек на свете, который способен пропустить Ленино высказывание мимо ушей. Может, оттого, что моргает часто? И чего-то не замечает?

Вот папка – другое дело. Это настоящий человек. Нет, нет, Лена вовсе не думает, что мамуля ненастоящий человек. Просто есть такое выражение. И папкин характер такой, что требует уважения, беспрекословного уважения. Петр Силыч. Даже в имени его что-то сдержанно глубокое. Отец – гордость Лены. Он талантливый геолог. Открыл никелевые месторождения в Сибири. Он вообще там без конца пропадает. И шлет Лене конверты с фотоснимками,

открытками и значками. Снимки обязательно надписывает аккуратным округлым почерком. «Уренгой. Здесь будет крупная железнодорожная станция». «Удокан. Колоссальное месторождение меди. Мои товарищи продолжают обследование этой зоны». «Посмотри, доченька, какая речичка! Ее назвали в честь тебя Леной».

Лена просто повизгивала, когда получала толстые отцовские конверты. И читала девчонкам вслух эти надписи. А потом всей комнатой они листали толстенный «Атлас мира», подаренный папкой, и отыскивали Уренгой, Удокан и плыли мысленно на теплоходе по Лене.

Отец все чувствовал и все понимал. В письмах своих он никогда ничем не восхищался, никогда не описывал сибирских красот и чудес – просто фиксировал, что на фотографиях. И когда Лена уговорила его выступить в школе, он рассказывал о профессии подчеркнуто сухо, пожалуй, даже официально.

Лена слушала его с удовольствием, радуясь, что у нее такой умный и тонкий отец, – большим людям, особенно мальчишкам, грешно внушать любовь к геологии. После выступления Лене разрешили прогуляться с отцом по саду. Стояла поздняя осень, октябрь, моросил мелкий-мелкий дождик, скорей влажная пыль, пахло прелыми листьями, и отец, прокашлявшись, пробормотал за спиной у Лены:

– Просто не пойму, зачем ты настояла?

– Во-первых, – ответила она, – хочу, чтобы все знали, какой у меня папка. А во-вторых, не можем мы тут отрываться от жизни.

Отец опять закашлялся, а Лена улыбнулась. Во всей своей болезни она одного терпеть не могла, не могла с этим смириться: люди говорят с ней из-за ее спины. Но тут она была довольна. Она любила отца и не хотела видеть в эту минуту его лицо.

Вот-вот... Лицо отца, когда она и не видит его, только слышит басовитый кашель. Мамино лицо с вечно моргающими глазами. Нет, не зря память ее засекает какие-то глупые проходные слова, которые означают нечто большее, чем в них вкладывают. Тот фотограф с лисьей мордочкой и угодливыми повадками. «На память». Неужели и они думают – на память? Вот так всю жизнь, с тех пор как она родилась? Ведь то, что она живет и добралась до восьмого класса, противостоит и неверно. И возможно, скоро она исчезнет. И они боятся. Боятся повторить эти случайные слова – «на память». На память о ком? Да что тут – о ней.

Лена отъехала в глубину комнаты, подальше от фотографии. «Это одиночество, – подумала она. – Одиночество и комната без людей. – Там, в интернате, она, самая волевая, по общему мнению девчонок, не позволяла себе распускаться и думать про подобную чушь. – И еще эгоизм, – решила она. – Думаю только о себе. Вон тот мальчишка, Федор. Разве ему легче, хоть в порядке у него и руки и ноги?» Она подъехала к окну и снова спросила себя: «Неужели же нет на белом свете людей, счастливых до конца, без всяких оговорок и без всяких пределов? Неужели нет? – И тряхнула головой. – Еще этого не хватало! Есть!.. Есть и есть!»

В дверях зашебаршил ключ, на пороге появилась мамуля, прекрасная и веселая, за ее плечом улыбался папка, и Лена отчаянно крутнула колеса своей коляски, рванувшись к ним.

– Аленушка! – закричала с порога мамуля. – У меня сенсационная новость! Я уйду с работы.

Лена затормозила.

– Зачем? – крикнула она отчаянно.

– Давай без прений, – сказала мама.

– Без прений, – тихо поправил отец.

– Хорошо, я согласна, – засмеялась мама, – откуда все знать, у меня же техническое образование.

У Лены закаменело внутри. «Значит, они все давно видят и понимают. Только молчат. Поняли, что я изменилась. Позволяю себе думать черт-те знает о чем».

– Мамуля, – сказала она жестко, выделяя каждое слово, – я, конечно, понимаю, что еще не обладаю избирательным правом, но позволь и мне принять участие в решении собственной судьбы.

Мама остановилась на полпути с авоськами в руках, приоткрыв слегка рот, и казалась в это мгновение слабоумной. Лена едва заметно усмехнулась.

– Если ты уйдешь с работы, – сказала она, – я буду считать, что вы признали меня неполноценной, не умеющей властвовать собой, беспомощной и никчемной инвалидкой.

– Ты с ума сошла! – закричала мама.

– Или – или, – ответила Лена. – Или ты возвращаешься в свое КБ, или вы отвозите меня домой.

– Куда?

– В интернат, – поправила ее.

Вопрос был решен, Лена это знала. Она вообще умела «вертеть» людьми, как выразилась однажды Зина, и это умение не держалось на ее болезни, напротив, оно держалось на ее жестком требовании не считать ее больной. А в этом разговоре все было ясно заранее. Выдумка мамы, понятное дело. Похоже, она убедила отца. Судя по тому, что он молчит и мнется, папка сомневается в мамулином варианте.

– Алечка, но ведь ты болела, крупозное двустороннее воспаление легких, – сказал он наконец, предварительного покашляв. И умолк.

– А еще что? – четко отпечатала Лена. – Что еще там вы насчитаете?

– Ничего, – спохватился он.

– Товарищи родители, – наставительно произнесла Лена, и ей самой стало тошно от своего тона, – давайте раз и навсегда прекратим эти разговоры. Раз и навсегда!

Отец вздохнул, а мамуля заморгала глазами, готовая заплакать, но папка остановил ее.

– Все, – пробормотал он, – закрыто.

Они молча ушли на кухню, молча выкладывали там продукты из авоськи, открывали и закрывали холодильник. Потом оба враз шумно вздохнули, и Лена засмеялась в комнате.

– Ты чего там, Алена? – спросил отец.

– Давно бы так, – ответила она. И выбросила из головы этот разговор. Вспомнила Федора. Если бы у всех все так легко разрешалось.

За чаем она спросила мамулю:

– Выполнишь одну мою прихоть?

Мамуля быстро-быстро заморгала, заранее пугаясь.

– Купи мне красивое длинное платье!

Федька проснулся поздно и заторопился на голубятню. Вчера он долго ворочался, не мог уснуть, а ночью ему снились разные страхи. Будто мать поставила тесто, оно поднялось, вышло из миски, скатилось на пол и стало пухнуть, расти на глазах, стало подбираться к подбородку, душить, а выбраться невозможно – как с ним, с тестом, быть, не поплывешь по нему – густое, и не пойдешь – жидкое...

Дома было пусто и неуютно. Смятая родительская постель, разбросанная по комнате обувь, на столе хлеб – разрезанный и разломанный, немытые тарелки. Только солнце красило комнату. Высвечивало нечистый пол, неубранный стол и будто бы о чем-то напоминало. Федька вспомнил и вскочил с постели. Все это очень похоже, ей-богу! Вот грязный стол. Стоит только захотеть, и он будет чистым. Где тряпка? Вот она! Раз-два – готово. Стол блестел свежейемытой клеенкой, а Федор уже тащил ведро с водой: еще немного, чуточку терпения, и пол будет сверкать, словно новенький.

Да, да, это все очень похоже. Стоит только как следует захотеть. И придумать. Вот, он, Федор, давно этого хотел. Но придумал только вчера. И вот сегодня уже, сегодня вечером, отец придет домой вполне нормальным, надо только придумать, вот и все.

Комната с каждой минутой становилась ухоженной и чистой. Федор заправил постели – и свою и родительскую, – родительскую с особым тщанием, вымыл грязную посуду, застелил стол новой скатертью, поставил на нее вазу и сбегал в палисадник – отломил несколько верхушек мальвы. Протер тряпкой проигрыватель, отобрал несколько пластинок, а на диск поставил для отца «Амурские волны». Батяня ведь на флоте служил, на Дальнем Востоке, а Амур – это там, ему приятно будет. Федор оглядел довольно свою работу, насыпал в карман крупы и крошек для голубей и отправился на свою стройку. С большим опозданием.

Голуби на него заворчали. Это простаку кажется, будто голуби воркуют, и все, а он-то уж знает. Опоздал – они ворчат, сердятся. Посыпал им крупы, покрошил хлеба, подлил в лоток свежей водички, а теперь и погуляйте на здоровье. Хлопнул запор, открылось голубям небо, они затрепетали, рванулись в высоту и пошли, пошли кругами. Федор свистнул им вдогонку – переливисто, длинно, с перепадами, поглядел на полет их хитрый – на кружение по спирали, голова устала, опустил ее и заметил: занавеска в окне напротив голубятни дрогнула.

И он вспомнил. Вчера, когда побежал за родителями после того их разговора со слезами, нога у него подвернулась, он упал и увидел в окошке этом девчонку.

Первое, что он ощутил, – досада.

«Значит, она все слышала», – подумал он. Но в этом окошке никогда никаких девчонок не было, тут жили двое, муж и жена; муж геолог, Петр Силыч, Федя знает его, подходил не раз к голубятне, спрашивал, которые турманы и чем от других отличаются. Но девчонка?

Федор легонько свистнул. Штора не шевелилась. «Может, ветер? – подумал он, но себя же перебил: – А вчера?»

Он попытался восстановить в памяти ее лицо. Не получалось. «Да поди никого и нет».

– Алё, – не крикнул, а сказал он. – Э, девушка!

За шторой было тихо. «Может, случайно кто к ним заходил?» Он достал рубанок и принялся строгать доску, изредка поглядывая на окно. Нет, там никого не было. И все же что-то притягивало его к окну. Он отложил рубанок – ему пришла в голову забавная мысль.

– Девушка, – сказал он, – я знаю, что вы смотрите на меня. Зачем? – Было тихо. – Зачем сквозь штору? Можно ведь и так. – Никто не откликнулся. – А я вот сейчас, – сказал он, тщательно заправляя рубашку в брюки, – поднимусь по водосточке и увижу, есть вы или нет.

Он застучал ботинками, открыл голубятню, спустился на землю, стряхнул с себя стружку и вновь поглядел на окно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.